

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Статья Д. Мирского

Русская литература XVIII в. фактически неизвестна нашему читателю. В лучшем случае он знает Ломоносова и Державина по двум-трем стихотворным отрывкам, Фонвизина по «Недорослю», Радищева по нескольким цитатам из «Путешествия». Дальше он затруднился бы даже назвать имена кроме разве Третьяковского как нарицательное имя для бездарного поэта. О том, как далеко простирается это невежество даже у очень литературно грамотных людей, можно составить себе представление по статье А. В. Луначарского о критике XVIII в., оценка которой дана в печатаемом в настоящем сборнике обзоре Г. А. Гуковского «В защиту XVIII века». Невежество это имеет свое объяснение и свое основание. Вопрос в том, насколько это основание может и в дальнейшем служить оправданием нашего традиционного игнорирования допушкинской литературы.

Литература XVIII в. отделена от литературы XIX в. глубоким качественным изменением, сопровождавшимся фактически полным разрывом литературной традиции и отразившим сдвиги русской экономики и социальной структуры русского общества, начавшиеся в конце XVIII в. и особенно развившиеся в первые десятилетия XIX в. Сдвиги эти сводились к созданию предпосылок для капиталистического развития. Политическим их выражением явилась деятельность Сперанского и движение декабристов; первым литературным отражением—возникновение русского «романтизма» с Пушкиным во главе. Эволюция надстройки особенно таких «высших этажей» ее как литература и искусство никогда не является простой линейной функцией развития производительных сил и производственных отношений, а, как указывал Маркс, находится в «неравномерном отношении» (*unequale Verhältniss*) к «развитию материального производства» («Введение к критике политической экономии»). Из этого между прочим следует, что идеалистическая история, исходящая из движения идей и идеологий, не только все ставит на голову, но дает ложное представление и о самом членении исторического процесса.

Сдвиги первой четверти XIX в. сравнительно мало изменили в социальной структуре России: в основном помещик и крестьянин стояли друг к другу в тех же отношениях в 1830-х годах, как и в 1780-х. Но сдвиги эти, несмотря на свой зародышевый и почти подспудный характер, определяли путь развития России как капиталистический. Большая часть страны оставалась стопроцентно-крепостнической,

* Начиная с настоящего сборника, мы открываем в нашем издании новый постоянный отдел «Трибуна», задача которого — всемерно содействовать развертыванию широкой научной дискуссии по основным проблемам марксистско-ленинского литературоведения. Думаем, что сейчас создание такого отдела является особенно уместным и своевременным. До сих пор данный участок нашего идеологического фронта является одним из отстающих, — нет нужды это замалчивать. Но было бы глубочайшим заблуждением толковать это положение в том смысле, что наше литературоведческое «сегодня» вообще представляет собою какое-то стоячее болото, лишённое каких бы то ни было признаков жизни. Нет, работа ведется, работа весьма напряженная и интенсивная. Ясно, какое огромное значение приобретает в таких условиях широкий и систематический обмен мнениями, обмен научным опытом. Только на основе такого обмена и могут быть достигнуты какие-нибудь положительные результаты в этой области. Таковы те соображения, которыми руководится редакция, открывая настоящий отдел.

сила инерции была очень велика, но жизнеспособные элементы оказывались все сосредоточены с этого времени на капиталистическом секторе. Это изменяло и отношение России и русского национального сознания к Западу. В XVIII в. Россия была чисто крепостническая, без каких бы то ни было элементов буржуазного прогресса, Европа же была уже в живой и жизнеспособной своей части вполне буржуазною. Вместе с тем русский феодализм, организованный в колоссально сильное государство, имел возможность широко использовать достижения европейской техники, промышленной и административной, но используя их, он пересаживал их на иную, феодальную, почву, где они вырождались в нечто существенно чуждое своей первоначальной природе, давая весьма своеобразные социальные монстры вроде крепостной мануфактуры и крепостной горной промышленности. В XIX в. с развитием наемного труда Россия входит в семью европейских народов, соединяясь с ней не только узами внешней торговли и технического заимствования, но и тем, что движущие силы ее истории становятся те же, что и на Западе. Россия XVIII в.—чужеродное тело, присосавшееся к буржуазной по своим движущим силам Европе. Россия XIX в.—младшая сестра в однородной европейской семье. В области материальной, экономической и политической, это приводит к качественному изменению взаимных отношений только во второй половине XIX в. Еще в 1848—1849 и 1853—1856 гг. русское самодержавие противостоит Европе как монолитно чужеродная сила, к которой Маркс, выражая интересы всех прогрессивных сил Европы, считал возможным только одно отношение—войны. Но в литературе, в идеологии это новое соотношение складывается уже со времени декабристов и Пушкина. Это новое соотношение меняет и характер русской литературы относительно европейской: она становится самостоятельной, национальной, одной из равноправных—хотя на первых порах и отсталой—литератур буржуазной Европы.

Литература чисто крепостнической России XVIII в. стоит к Западу в отношении подражания, в отношении неорганического усвоения социально чуждых форм. Это между прочим придает ей большой теоретический интерес, поскольку она дает исключительно богатый материал для изучения вопроса о международных влияниях. В марксистской литературе вопрос этот находится как бы в заgone. В самой постановке его усматривается механистическая опасность. В руках буржуазных ученых он действительно трактуется чисто механистически. С переходом буржуазной науки с механистически-позитивистских позиций на эволюционно-идеалистические «влияния» так же начали подвергаться гонению, и у младшего поколения литературоведов буржуазной формации они не в фаворе. В печатаемом в настоящем сборнике обзоре Гуковского высмеивается самая постановка вопроса о подражательности русского классицизма. Предполагается, что всякая эпоха (resp. социальная группа) необходимо выражает себя в литературе по-своему и адекватно себе. Но такое предположение приводит нас из механистического огня в полыми витализма. Марксисту при подходе к этой проблеме полезно еще раз вспомнить марксово положение о неравномерности развития искусства по отношению к материальной базе, а также не менее важное положение Маркса и Ленина об обязательности конкретного подхода ко всякому материалу. Мы знаем например, что в «допетровской» России не было художественной литературы как обособленной и устойчивой деятельности. Возникли только разрозненные ростки, не сливавшиеся в единое движение. Очевидно не всякое общество, и в частности не всякое феодальное общество, в состоянии создать свою литературу. Более тесная связь с Западом раскрыла перед русским феодализмом и его слугами западную литературную культуру. Ее стали перенимать, и к середине века в России уже существовала художественная литература по западному образцу как обособленная и устойчивая культурная функция. Каждый раз, как отсталая нация без литературной традиции или с литературной традицией застойной и безнадежно отставшей от жизни втягивается в орбиту более передовой социально-экономической системы, возникает ситуация, делающая возможным подобное заимствование. Но так же как результат влияния вторжения торгового капитала зависит от характера того общества, в которое он вторгается, так и наличность литературных связей между развитой и отсталой страной не обязательно приводит к возникновению новой литературы по чужому образцу. В процессе пересадки византийской культуры в киевскую Русь эта культура оказалась обедненной до неузнаваемости; в частности византийская художественная литература не была воспринята вовсе. В XVIII в. пересадку европейской литературной культуры на русскую почву облегчало то, что эта литература, уже буржуазная в своих жизнеспособных клетках, была еще вся проникнута инерцией феодального прошлого. Этот феодальный элемент, отмиравший и застойный, и был тем, за что русское дворянство зацепило западную литературу. Пересаженные на русскую почву раз-

ные элементы западной литературы оказались в новых соотношениях. Например ода, застойный и омертвелый жанр на Западе, в России нашла необыкновенно благоприятную почву и оказалась ведущим жанром всей литературы. Эта неадекватность заимствованной литературной традиции той действительности, которую требовалось выражать, и составляет основной характер русской литературы до начала XIX в. и определяет ее подражательность и неорганичность. Только ставши на буржуазный путь русская литература могла отнестись к западным формам как к своему добру и почувствовать себя в них, как дома. С этого момента русская литература становится национальной, и Белинский, следя за ее ходом, решает наконец в начале 40-х годов сказать: у нас есть литература.

Но качественное изменение русской литературы и разрыв с традицией XVIII в. началось задолго до Белинского. Уже Жуковский стилистически не имеет почти ничего общего с XVIII в. Уже Пушкин отвергает его почти целиком, с большими ограничениями признает Ломоносова и Державина и интересуется только теми писателями, в которых видит предшественников нового реализма—как Фонвизин, или новой антикрепостнической идеологии—как Радищев. Как правильно указал еще Чернышевский, Белинский ничего не разрушал в отношении к XVIII в.; наоборот, он положил начало тому относительно историческому и критическому освоению его, которое есть основная исходная точка и пролетарского отношения к культурному прошлому. Оценка литературы XVIII в. Белинским была невысокая и в основном отрицательная. Такое отношение осталось традиционным для либеральной и радикальной части русской критики. Жуковский, желая унизить этот подход, называет его «пышинским» и «незеленовским». Но в основе—это отношение Белинского, Чернышевского и всей русской демократической критики. В руках либерала Пыпина и казенного даже не-либерала Незеленова это отношение теряло свою живую демократическую действенность и вырождалось в самодовольную уверенность в превосходстве культурного и современного Тургенева над несчастными невеждами XVIII в. В руках же Белинского оно было действенной и существенной частью его борьбы за новую демократическую культуру.

В литературе XVIII в. Белинский отвергал не только и не просто классово враждебную феодальную литературу. Конечно в его оценке был и этот момент; он играл например главную роль в острой вражде к стилю оды, к «шарению» и «высшренности» поэтов XVIII в. Но уже в эпоху Белинского литература XVIII в. была очень мало актуальна как литература классового врага. Для русских крепостников XIX в. мирозерцание их дедов XVIII в. было уже «потерянным раем», как были «и предков чужды им роскошные забавы, их добросовестный, ребяческий разврат». Победоносный дома и за границей феодализм XVIII в. мог позволить себе большую наивность, предаваться квази-материалистическим настроениям, игнорировать поповщину, заигрывать с Вольтером и обходиться безо всякой полемической, самооправдывающейся идеологии. Перешедший к обороне, катящийся к поражению феодализм XIX в. позволить себе этого не мог. Он был вынужден создавать себе новые идеологии лицемерные и демагогические, неизменно мистические и поповски окрашенные, и с ними-то от «официальной народности» до полулиберального славянофильства и боролись в первую голову идеологи русской демократии. В литературе XVIII в. их отталкивало прежде всего другое: ее безыдейность, бессодержательность, тот характер забавы, который она носила и который сближал ее с очень актуальной для них идеологией «чистого искусства». «Чистое искусство» было лозунгом половинчатых либералов и махровых консерваторов, и XVIII в. всем характером своей эстетики приходил на помощь «чистому искусству». Это было основное политическое обвинение против XVIII в. Рядом с этим отталкивал от него еще и характер его поэтики. Русское искусство XVIII в., как в основном все добуржуазное искусство, было основано на заданной, традиционной, условной форме, тесно связанной с условным же, ограниченным традицией содержанием. Индивидуалистическая буржуазная эстетика (в основном разделявшаяся с левой буржуазной демократией вплоть до мелкобуржуазных революционеров) воспринимала эту литературу как пустую, холодную, неискреннюю, эмоционально-бессодержательную. Наконец последним обвинением была подражательность—обвинение, тесно связанное с обвинением в условности. Для людей, борющихся за создание национально-демократической литературы, сознательно и конкретно отражающей наличную действительность, критикующей ее и работающей над ее преобразованием, литература, основанная на заимствовании чужих, неадекватных форм выражения, не представляла никакого интереса. И вообще основная линия критики XVIII в. у Белинского и других демократических критиков идет не по линии борьбы с его классовой сущностью, а по линии борьбы с ненужным и лишним нянчением с литературой, не представляющей ника-

кого живого интереса, литературой, которую можно с успехом предоставить ведению архивных крыс. Но отвергая XVIII в. как целое, демократическая критика все же критически отобрала из него отдельные явления, признав в них первые шаги подлинной русской литературы. В общем можно сказать, что отобраны были те же элементы, которые выделял уже и Пушкин: первые шаги еще погруженного в классическую традицию реализма—преимущественно в комедии и в басне; Радищева как родоначальника русской прогрессивной политической мысли; наконец Державина как фигуру резко оригинальную и тем вмещающуюся в каноны индивидуалистической поэтики. К этому Пыпин и его продолжатели прибавили интерес к первым шагам квази-буржуазного просветительства с Новиковым во главе. Но в основном XVIII в. остался в ведении ученых чиновников крепостнической формации, чуждых интересам современности и подошедших к нему с формальным безразличием архивариусов. Новое было внесено младшим поколением литературоведов-народников, открывших наконец, что литература XVIII в. не сводилась к литературе дворянской, и обративших внимание на «низовую» литературу. Но неспособные на четкий классовый подход они в сущности дали не более как новый сырой материал для истории литературы.

С ростом чисто буржуазной культуры, «освободившейся» от демократической традиции, отношение к литературному наследству—и в том числе к XVIII в.—меняется. Но для упадочников-символистов XVIII в. с его «добросовестным развратом» и наивным рационализмом был не так уж привлекателен. Даже Державинным они не интересовались, и пожалуй именно при символистах он достигает надиры своей известности. Формалисты следующего поколения с их всеядностью и свободой от пережитков романтического культа «искренности» обращали внимание и на XVIII в., но без особого увлечения. Несколько оживлял их отношение в XVIII в. характерный для упадочной буржуазии культ аристократизма и монархического величия, но культ этот у них был обращен больше на эпоху Александра I и Николая I, чем на XVIII в. Всеядно-формальное отношение формалистов скрестилось с безразлично архивным подходом ученых чиновников, и эти два отношения, по существу одинаково равнодушные и формальные, до сих пор составляют фон литературоведческого отношения к XVIII в., фон, который иногда очень ясно проступает и в предлагаемой книжке.

Неудивительно, что пролетарская революция отразилась на этом отдаленном и мало актуальном участке научного фронта сравнительно мало. Марксизм проникал сюда не столько прямо и непосредственно, сколько через свое искаженное и обедненное отражение в головах литературоведов прежней формации. Он ориентировал их интерес на литературную продукцию непривилегированных классов и на проявления классовой борьбы. Первая уже в значительной мере была введена в литературоведческий оборот эпигонами либерально-народнической школы, которые стали пригонять свои концепции к марксистской терминологии. Старые чиновники и молодые формалисты тоже стали дарить больше внимания недворянской литературе и тому, что они принимали за отражение борьбы классов. Коренной порок всех этих работ—недостаточное знакомство с историей. Литературоведение может быть марксистским только поскольку оно стоит на почве марксистской истории, знает факты социально-экономической истории и по-марксистски, т. е. научно, понимает их связь. «Марксистское» литературоведение, оторванное от фактов истории, может только привести к фантастической отсебятине, худшей, чем сознательный методологический идеализм.

Между тем XVIII в. и вне литературной сферы еще недавно был плохо известен, но по причине противоположной: для буржуазной истории он был слишком близок и актуален. Она предпочитала держаться московских времен, где можно было пасть на просторе, не вступая в конфликт с начальством. О XVIII в. в академическом тоне писать было невозможно, в неакадемическом—не позволяли. XVIII в. слишком ясно требовал партийного подхода и партийного отношения не к общим теоретическим вопросам вроде происхождения общины, а самого действенного разоблачения еще живущих и усердно поддерживаемых монархических легенд о «великих людях» вроде Екатерины II. И не случайно, что первую связную историю XVIII в. написал великий историк-большевик М. Н. Покровский. Относительно предыдущих эпох работа его преимущественно заключалась в критике концепций буржуазных историков и построении марксистской из их же материала. В XVIII в. Покровский имеет перед собой только еще совершенно реакционную и ненаучную легенду или разрозненные и формальные монографии; он строил почти на голом месте.

После Октября наше знание о XVIII в. очень расширилось: только теперь например мы получили доступ к подлинным материалам о пугачевском восстании, ве-

личайшем революционном движении нашей страны до 1905 г. Но литературоведы с характерным цеховым духом мало интересовались историческими работами, создавая себе доморощенные социологические схемы вроде покойного Сакулина, и для увязки литературного знания о XVIII в. с общеисторическим остается сделать очень много. Тем временем XVIII в. сделался спортивной площадкой для «исследователей» вроде Виктора Шкловского, облюбовавшего себе прозаиков екатерининской эпохи и создавшего такие шедевры самоуверенного верхоглядства, как его последняя книга «Чулков и Левшин», в которой на основании прочитанных им нескольких старых книг, журнальных статей и справочников он претендует критиковать и ревизовать историческую концепцию Покровского. Концепция Покровского—первая не только марксистская, но вообще связная концепция истории XVIII в.—конечно подлежит еще большому уточнению. Не следует забывать, что она изложена наиболее детально в ранней, дооктябрьской, работе великого историка и не представляет собой последнего слова зрелого Покровского. Но это уточнение может быть проведено только на основании большой работы во всеоружии марксистского метода и с учетом всех новых материалов. Наскоки Шкловского не могут конечно повредить этой большой работе, но в кустарщину общеисторических взглядов литературоведов они могут внести много новой и лишней путаницы.

Здесь не место углубляться в характеристику социальной природы России XVIII в. Достаточно сказать, что основная ее черта — безраздельное господство класса феодалов-крепостников, организованных в сильное, вооруженное почти современной европейской техникой государство; что класс этот—это его своеобразие в ряду других феодальных эпох—не довольствовался традиционной, веками освященной эксплуатацией своих крестьян, а успешно хищничал, грабя соседей и изобретая новые способы выжимать прибавочный продукт из своих «подданных» (крепостная мануфактура, неограниченный оброк), широко используя для своего обогащения и государственный аппарат (как это делалось, хорошо показано на конкретном примере войскового хозяйства в печатаемой ниже статье Гуковского о солдатских стихах); что буржуазии, сколько-нибудь способной на политическую оппозицию, не было; что основной предпосылки капиталистического развития—обращения рабочей силы в товар—не было (только в последнее десятилетие начинает намечаться перемена); что основная линия классовой борьбы была между крепостниками и крестьянами, при чем последние находили союзников (помимо классово еще мало расслоенных нацменов) только среди городского плебейства, которое само в значительной мере состояло из крепостных (дворовых, оброчных). Был момент, когда крестьянское восстание поколебало самые основания крепостнического государства и имело реальные шансы на победу; но будучи раздавленным, оно оказалось для крепостников только страшным кошмаром между двумя долгими периодами относительного классового благополучия, прерываемого время от времени крестьянскими восстаниями местного значения.

В этих условиях культурная монополия безраздельно принадлежала крепостникам, хотя самая культурная работа могла вестись их слугами, слугами крепостнического государства или индивидуальных помещиков: вспомним крепостных живописцев. Единственный серьезный фронт классовой борьбы пролегал вне «культурного общества». Единственный революционный (даже единственный оппозиционный) класс—крестьянство—не имел защитников в литературе. Это освобождало крепостников от необходимости вести идеологическую борьбу с ним.

До какой степени крестьянство было изолировано сверху, ярко иллюстрирует отношение к крестьянской революции первого провозвестника буржуазно-демократической революции: Радищев, грозя царям примером Карла I, вообще говоря о них языком вполне смелым и революционным, в то же время ни словом не упоминал о пугачевщине, как будто не в России развернулась эта грандиознейшая из крестьянских войн.

Эта крайняя бедность литературы XVIII в. реальными выражениями классовой борьбы заставляет «марксистствующих» литературоведов искать ее там, где ее нет, и, находя подобие какой-то борьбы в дворянской литературе, раздувать ее и делать из мухи слона. Это относится к литературным проявлениям так называемой дворянской оппозиции. Здесь современные литературоведы продолжают традицию дворянских революционеров XIX в.: Рылеева, воспевавшего Державина за его обличения Потемкина и других вельмож; Герцена, издававшего сатирический памфлет дворянского олигарха Щербатова о повреждении нравов. Продукция «вольной» оппозиционной литературы, обращавшейся в рукописи, была довольно велика в XVIII в., но преувеличивать ее значение не следует. Борьба разных групп и фракций внутри помещичьего блока была «спор славян между собой», в котором и для крестьян

тогда, и для нас теперь в высшей степени безразлично «съест ли собака свинью или свинья собаку». Либерал Герцен мог сочувствовать олигархическому конституционализму Щербатова. Для нас Щербатов или Екатерина II так же безразличны, как У-Пей-Фу или Ень-Си-Шань. В большинстве случаев, правда, «оппозиционеры» талантливей, умней и откровенней своих противников, и это может располагать в их пользу. Но борьба шла даже не между экономически различными группами дворянства, как она шла например в эпоху крестьянской реформы. Это были чисто технические вопросы: как наиболее целесообразно организовать дворянское государство, что важнее—сильная власть представителя класса как целого или личная независимость отдельных членов класса. После пугачевщины, как указал еще Покровский, стало ясно, что ради общих классовых интересов придется пожертвовать индивидуальными претензиями, и установился диктаторский режим, существо которого ничуть не менялось от того, кто стоял во главе диктаторского аппарата—Потемкин, Зубов или Павел I. «Оппозиция» теряет даже и тот принципиальный характер, который она имела еще у Щербатова, и становится оппозицией отдельным лицам. Но проблема организации дворянской власти так, чтобы удовлетворить всех, была квадратурой круга. Крестьянская опасность требовала сильной власти, сильная власть требовала бесконтрольности ее носителя, бесконтрольность порождала «тиранов», «вторых Сарданапалов», которые расточали богатства страны истинно по-царски и не стеснялись с индивидуальными представителями своего класса. Но пока они пеклись об общих интересах класса, они могли позволять себе очень многое с отдельными дворянами, даже с каждым отдельным дворянином. Потемкина и Зубова ненавидели почти все, но оппозиция им дальше простого бузотерства не шла, так как даже великодушные инвективы Державина—не больше чем простое бузотерство. Но когда Павел I, четыре года безнаказанно издевавшийся над дворянами, на пятый год, объявив войну Англии, пошел против интересов дворянства, он был немедленно убит. Выделять оппозиционную литературу XVIII в. как сколько-нибудь более близкую нам, чем неопозиционная, так же бессмысленно, как бессмысленно было бы сближать Алексея Орлова, убившего Петра III, или Палена, организовавшего убийство Павла I, с Каракозовым или Желябовым.

Но если «борьба» внутри дворянства не отражает никаких классовых противоречий, не было ли классовой борьбы между дворянством и третьим сословием, как полагается в словесной монархии?

Утвердительный ответ на этот вопрос дают столь разные авторы, как Виктор Шкловский и В. Десницкий. Последний развернул это положение с полной четкостью в своей вступительной статье к недавно вышедшему в «Библиотеке поэта» тому, посвященному и р о и - к о м и ч е с к о й п о э м е. В этом положении многое основано на недоразумении и на двусмысленном употреблении термина буржуазия. О буржуазии как прогрессивном классе, способном притти на смену феодальному дворянству, можно говорить только с момента, когда появляется основанная на наемном труде промышленность, когда рабочая сила становится товаром. Пока этого нет, никакой расцвет внешней торговли, никакая степень разделения труда, никакой рост товарности не создадут ни капитализма, ни буржуазии в собственном смысле. Вспомним, что Маркс («Капитал», т. III, гл. 22) говорил о разных результатах развития торгового капитала в зависимости от способа производства и как он издевался над историками, находившими в Греции и в Риме развернутый капитализм, «только» без свободных рабочих. Крепостная мануфактура (включая горную промышленность) так же мало капиталистична, как и античный эргастерий. Десницкий, впадая в совсем лирический тон, говорит о русских промышленниках, организовавших грабеж пушных богатств Аляски, как о русских Кортесах и Писарро. Аналогия правильная. Но она говорит не то, что хочет Десницкий. Кортес и Писарро были в основном феодальные фигуры, хищники, полагавшиеся целиком и полностью на силу оружия, и деятельность их, давшая такой толчок для развития капитализма в Северозападной Европе, послужила исходной точкой для рефеодализации самой Испании. Торговая буржуазия вполне уместается в пределах феодального государства, особенно такого, как российское, дававшего огромный простор для грабежа колоний и для посреднической эксплуатации раздавленного податями и оброчными платежами крестьянства. Для характеристики русской буржуазии показателен факт, приводимый самим Десницким: ходатайства купцов в екатерининской комиссии о предоставлении им права владеть крепостными. Другое крыло русской буржуазии—буржуазия крепостная—этим правом фактически пользовалась: богатые шереметевские крепостные с. Иванова с разрешения барина сами владели крепостными на его имя. И не забудем, что именно купеческое темное царство выбрал Добролюбов как символ всего крепостнического уклада русской жизни. Десницкий

называет русское купечество XVIII в. «третьим сословием». Термин этот вполне законен, поскольку он подчеркивает принадлежность русской буржуазии к феодальному обществу, но совершенно незаконен, поскольку он вызывает ассоциации с французским третьим сословием и знаменитыми словами Сиейеса о «ничем», «всем» и «кое-чем». Если в России «третье сословие» было конечно «кое-чем», то в совсем другом смысле, чем хотело «стать кое-чем» французское—и ничем другим оно стать и не стремилось. Десницкий называет представления об отсутствии классовой борьбы между дворянством и «третьим сословием» идиллическими и меньшевистскими. Мне кажется, что еще более идиллично и меньшевистично представлять классовую борьбу то, что ею не является. Сближать русское «третье сословие» с французским есть проявление того же меньшевизма, который в 1905 г. представлял русскую буржуазию активной революционной силой. Подлинной идиллией явилась бы страна, где классовая борьба сводится к «борьбе» купцов с дворянами, как ее изображает Десницкий. В екатерининской России была классовая борьба и далеко не идиллическая. Но она происходила совсем не там, а на полях битв пугачевцев с царскими войсками.

Подлинная буржуазно-демократическая оппозиция появляется только около 1789 г., когда начинает намечаться перелом, предваряющий уже эпоху декабристов. К этому времени неуклонный рост отходничества оброчных крестьян—основная предпосылка создания рынка рабочей силы—начинал уже заметно изменять некоторые клетки русского общества, и Великая французская революция могла явиться и в России сигналом для первых шагов демократической мысли.

Предшественником ее является Новиков в своей позднейшей деятельности, приведшей его в Шлиссельбург. За Радищевым идет целая плеяда молодых писателей, начиная с молодого Крылова, резко антикрепостнические сатиры которого так не похожи на его позднейшие басни, Пнина и его друзей.

В связи с этим возникает необходимость и для дворянства приспособиться к новым условиям и подкраситься под новую эпоху, и возникает Карамзин с его социальной мимикрией западной буржуазии.

Литература буржуазно-демократической оппозиции представляет для нас первостепенный интерес, а в ней прежде всего Радищев, изучение которого удивительно мало подвинулось вперед со времени революции. Надо всячески приветствовать подготовляемое издательством Политкаторжан полное собрание его сочинений. Надо ясно отдать себе отчет в его классовой позиции, которая была несомненно не мелкобуржуазная, а буржуазно-демократическая, т. е. сознательно ориентированная на развитие производственных сил в капиталистическом направлении. Надо изучить его со всех сторон, между прочим и как замечательного поэта, резко выделяющегося среди современников и сыгравшего крупную, еще не исследованную роль в эволюции русской поэзии. Публикуемая Гуковским и Орловым ода «Древность», которую они, мне кажется, вполне убедительно приписывают Радищеву, дает чрезвычайно много нового для понимания его как поэта.

Что же касается до остальной «буржуазной» литературы XVIII в., то за немногими исключениями она лишена революционной и вообще идеологической ценности. Но она представляет большой интерес как дающая наиболее яркое реалистическое искусство XVIII в. Этот реализм не имеет еще идеологической заостренности против изображаемой крепостнической действительности. Но всякий реализм имеет для нас свою неотъемлемую ценность. Возникает однако проблема о подлинной классовой сущности этой литературы и о соотношении дворянского и «буржуазного» реализма. Между салонным реализмом Фонвизина, критикующего невежественное провинциальное дворянство, довольствующееся унаследованной от отцов эксплуатацией своих крестьян, с точки зрения столичного «просвещенного» дворянина, участвующего и в коллективной эксплуатации всей империи при помощи государства (публикуемый здесь ранний вариант «Недоросля» с необыкновенной ясностью, даже наивностью, несвойственной зрелому Фонвизину, обнажает его точку зрения), и реализмом Василия Майкова разница очень велика. Но есть ли это классовая разница? «Салонизация» дворянства пришла сравнительно поздно. У старшего поколения екатерининских дворян, даже образованных, вкусы были «грубые» и «мужицкие» и кабаку они были далеко не чужды. Вообще не следует преувеличивать бытовую обособленность дворянства от других классов для середины XVIII в. и смешивать бытовые границы с классовыми. Вспомним хотя бы солдатскую службу Державина. Но эта бытовая близость отнюдь не лишала дворянина его классового самосознания, как показывает известный случай, когда Державин донес по начальству о подслушанном им разговоре сочувствовавших Пугачеву его товарищей-солдат.

От буржуазии мы переходим к городскому плебейству, к той «мещанской» и «губочной» литературе, которую презирала дворянско-академическая наука, но на кото-

рую обратила внимание нео-народническая. В этой области марксистскому литературоведению предстоит прежде всего пересмотреть народнические конструкции. Надо ясно—а это может быть сделано только при ведущей роли историков—выяснить социальную природу городского плебейства; роль в его составе предпролетариата; состав солдатской массы (которую для XVIII в. нельзя рассматривать как чисто крестьянскую); роль крепостной прислуги; установить границу между эксплуатируемым плебейством, и прослойкой, в бытовом отношении очень близкой к нему, но классово принадлежащей к лагерю эксплуататоров—пресловутыми «подъячими». Здесь опять ясно выступает необходимость не смешивать бытовое сходство с классовым содержанием. В другом плане надо различать то чтово, которое в сущности шло от дворянских объедков, от подлинного творчества городских разночинцев. Первое было несомненно орудием крепостнического господства, как таким же орудием буржуазного господства является массовая халтурная литература Запада. Второе неизмеримо интересней. Систематическое и организованное изучение его с установкой на построение подлинной истории городского плебейства в крепостническую эпоху—очередная задача нашего литературоведения. При этом, мне кажется, следует обратить особенное внимание на судебные дела, так как несомненно лучшая и наиболее действенная часть этой литературы могла сохраниться только поскольку она попадала в лапы угнетательского государственного аппарата в качестве обвинительного материала против ее авторов и распространителей.

Одной из основных задач исследования плебейской литературы должна быть увязка ее с творчеством крестьянским. Крестьянское творчество конечно является самым интересным полем для марксистского литературоведения. И тут сделано еще очень мало. Те отражения пугачевского восстания, которые мы имеем, при всей их внутренней значительности не могут удовлетворить нас. И тут опять, мне кажется, судебные дела должны быть наиболее благодарным полем. Но розыском нового материала мы не должны ограничиваться. И тут надо стремиться к тому, чтобы дать общую картину, историю крестьянского творчества крепостной эпохи. Надо выяснить роль разных групп крестьянства. При слабом классовом расхождении крепостной деревни группы эти будут прежде всего территориальные, горизонтальные, как например, уральские и алтайские заводские крестьяне; крепостные и посессионные фабричные центра; казаки; государственные крестьяне Севера. Надо выяснить степень патриархальности разных групп, их восприимчивость к революции, идеологию этой революции; роль попов как проводников нужной помещикам идеологии; роль раскольников и т. д. Другая задача, которой марксисты пока не касались, это выяснение соотношения между сравнительно скудными памятниками крестьянской письменной литературы и устной словесностью и введение последней в общую картину крестьянского творчества в его историческом движении. Крупнейшей из частных задач должно стать опять-таки систематическое изучение того, как выразилось в крестьянском (и плебейском) творчестве Пугачевское восстание.

Исследование плебейской и крестьянской литературы—самая привлекательная для литературоведа-марксиста задача и в то же время та, в которой больше всего остается сделать. Поэтому литературоведческие силы должны быть брошены в основном на эти участки. В отношении дворянской литературы задачи совершенно другие. Материала в этой области даже слишком много. Многие конечно остаются неопубликованным, но в публикации такого рода материала надо проявить воздержанность и выдержанность: публиковать только то, что действительно бросает новый свет на существенные проблемы, и совершенно пресечь беспринципное опубликование неизданного только потому, что оно неиздано. Ценно опубликование такого материала, как например бологовский, потому, что он ярко рисует эту типичную фигуру крепостника и способствует вскрытию природы помещичьей культуры XVIII в., или княжнинский, поскольку он разрушает еще одну либеральную легенду об оппозиционном помещике. Конечно и материал чисто литературный может представлять интерес, но именно тут надо избегать беспринципного регистраторства, экономить бумагу и строго отбирать полезное от бесполезного. При этом отборе надо конечно исходить из общей оценки дворянской литературы XVIII в.

Какая же может быть эта оценка? В основном очень низкая. В основном нам нет нужды ревизовать оценки Белинского, хотя в отдельных пунктах и возможны поправки. И причины, которые выставлял Белинский для обоснования своей оценки, остаются в значительной мере в силе: дворянская литература XVIII в. подражательна и бессодержательна, т. е. дает мало адекватное и скудное выражение идеологии и психологии своего класса. Главный интерес, который ей можно приписать, интерес теоретический, о котором я говорил в начале статьи, поскольку она бросает свет на проблемы международного воздействия. Затем она представляет и известный

формальный интерес—с точки зрения эволюции литературного языка стихотворных форм. Помимо этого дворянская литература в основном представляет мало ценности и мало интересна, и исследование ее должно быть подчинено историческим интересам, интересам выяснения социальных взаимоотношений крепостнического общества.

Есть однако участки, которые надо исключить из этой общей оценки. Сюда относится прежде всего реалистическая струя, идущая еще от Кантемира, которая незаметно переходит в буржуазную и о которой в связи с последнею я уже говорил. Вообще говоря, реализм не свойственен феодальному искусству. Возможность реализма в дворянской литературе обуславливается своеобразным характером русского феодализма XVIII в. в ряду других феодальных обществ. Русский феодализм XVIII в. был феодализм без традиций, без обычая, ориентированный на хищническую экспансию, поэтому он был восприимчив на известные стороны буржуазной культуры, те, которые облегчали эту экспансию; поэтому же он был относительно свободен от поповщины, которую сохранял только для «обуздания черни», совсем по Вольтеру. При этом он оставался чисто феодальным: накопленные огромные богатства потреблялись непроизводительно, а достигнутая свобода от религии (очень относительная конечно) приводила к «материализму» чисто практическому в виде не связанного никакими нормами эпикурейства.

Все это создавало атмосферу, которая в реальной жизни только осложняла, а отнюдь не смягчала и не облагораживала феодального варварства: буржуазные наблюдатели с Запада воспринимали «европеизм» русского дворянства как элемент, подчеркивающий и усиливающий их варварство. Но в специфической области искусства эта своеобразная атмосфера давала возможность развития весьма своеобразных явлений, сближающих вершины дворянской поэзии XVIII в. с прогрессивными эпохами человечества—с Ренессансом.

Что для научного творчества эта атмосфера не была благоприятна, мы знаем из судьбы Ломоносова. Дворянскому государству были нужны ученые артиллеристы, горные инженеры, архитекторы, мозаисты. «Быстрых разумом Невтонов» своих ему совсем не нужно было, их можно было использовать из-за границы, из вторых рук. Поэтому ученая карьера Ломоносова и была так трагична. Наоборот: для поэтического дарования Ломоносова та же самая атмосфера была скорее благоприятна, и его научное вдохновение нашло себе богатое выражение в его лирике. Оно поднимается значительно выше общего уровня дворянской литературы (к которой он все-таки принадлежит) и принадлежит к малому числу безотносительно ценных художественных выражений XVIII в. Другое такое выражение—Державин, наиболее яркое проявление в русской литературе добуржуазной поэзии. На Державине наше литературоведение может учиться тому, что Маркс признавал самой трудной задачей в отношении к классово чуждому искусству прошлого—объяснить, почему оно может «доставлять художественное наслаждение», несмотря на свою классовую враждебность и идейную примитивность.

Признание ценности Державина отнюдь не должно заслонить его полной враждебности. Тем менее допустимо переносить это признание на остальную дворянскую литературу XVIII в. Эта последняя не может рассчитывать на какое-либо возрождение, она сохраняет свой интерес только как часть огромного архива прошлого, который весь может быть использован для всестороннего изучения истории. В этом архиве она занимает один из отдаленных закоулков.

Резюмируя, можно сказать; что основной задачей марксистского изучения XVIII в. должно быть исчерпывающее изучение социально близкой нам литературы крестьянской и плебейской с установкой на построение цельной и полной идеологической истории эксплуатируемых классов крепостной России,—предков рабочих и крестьян, ныне строящих бесклассовое общество. Рядом с этим—но не смешивая с предыдущей—задача полного изучения русской демократической мысли в ее ранне-буржуазных истоках: Радищева и его окружения. Наконец изучение и оценка отдельных вершин дворянской поэзии в связи с общей задачей критического освоения достижений добуржуазного искусства эксплуататорских классов.